

Вера Краснова

Исповедь крестьянского сына

Русский народ вел себя в революции 1917 года не так, как преподносит нам официальная историография. Опубликовано новое свидетельство очевидца

В России напечатаны «Записки о революции» Ивана Федоровича Наживина — «сына мужика», как он говорил о себе, пришедшего в литературу на рубеже XIX–XX веков, но только в эмиграции ставшего широко известным. Мы знали этого автора благодаря его выходящим с 90-х годов прошлого века историческим и биографическим романам: «Распутин», «Во дни Пушкина», «Казачи», «Кремль», «Глаголют стяги», «Иудей», «Евангелие от Фомы», «Софисты», «Душа Толстого» — и могли оценить мастерство Наживина-беллетриста наравне с его оригинальным умом и историко-культурной эрудицией.

«Записки о революции» — это публицистическая автобиографическая повесть, которую, впрочем, многое роднит с художественной прозой: живой, народный и при этом классически выверенный русский язык, яркие, запоминающиеся образы героев повествования, захватывающий сюжет, продиктованный самой жизнью. Это история о том, как писатель Наживин, до 1917 года убежденный левак — анархист и толстовец, наблюдая революционную лихорадку сначала в родном селе, затем в губернском центре, Москве, Петрограде, Минске, Киеве, Одессе, на Дону и Кубани, радикально правее в своих взглядах. В конце 1918 года он пытается выехать в Швейцарию, но, задержавшись на петлюровской «Украине» (закавычено писателем, с иронией относившимся к идее самостийности Малороссии), направляется оттуда не в Европу, а в тыл армии Деникина, чтобы участвовать в спасении «единой и неделимой» России. Скоро, однако, убеждается в том, что «белая» идея так же, как и «красная», далека от подлинных чаяний народа и несет с собой лишь хаос и катастрофу. Итогом скитаний писателя и его семьи становится спешная погрузка на пароход «Афон», взявший курс из Новороссийска на Балканы.

Будучи увлекательным чтивом, «Записки» Наживина, возможно, еще больший интерес представляют как исторический документ. Удивительно, но факт: спустя век после тех трагических событий мы имеем дело с новым

уникальным свидетельством очевидца: и по хронологическому, и по географическому охвату событий и действующих лиц «Запискам» нет равных. Скажем, в «Окаянных днях» Бунина описываются Москва 1918 года и Одесса 1919-го. У Наживина, словно в кинохронике, запечатлена почти вся Россия с февраля 1917 года по апрель 1921-го: практические активисты крестьянских сходов, бойкие базарные торговки — оппоненты революционеров на городских митингах, наивно восторженные кронштадтские матросы, жадные до имущества «биржуазов» красноармейцы и их большевистские начальнички, самонадеянная в своей приверженности новому строю и все же ностальгирующая по вежливому царским городским образованная публика, интеллигентные беспомощные политики, обманутые политиками офицеры и генералы... А поскольку перо у Наживина не только умелое, но и честное, этому «кино» можно доверять.

От субъективности и тем более подлогов, к которым бывают склонны мемуаристы, озабоченные самооправданием в глазах современников и потомков, автора «Записок» спасала его беспартийность (она же была причиной того, что писатель оставался изгоем в политизированной интеллигентской среде как до революции, так и после). Кроме того, писал он если и не в режиме онлайн, как бы сейчас сказали, то, во всяком случае, не откладывая в долгий ящик, по горячим следам происходивших событий, так что возможности для инсинуаций у него были минимальны. Но, пожалуй, главное, что делало Наживина честным историографом, — совестливость, непреодолимое чувство правды, которую он готов был увидеть и принять даже ценой отказа от собственных убеждений, — прямое следствие его крестьянского происхождения.

Крестьянская совесть вообще сыграла большую роль в литературе XX века. В начале столетия среди писателей появилось много выходцев из крестьян: Иван Вольнов, Ефим Честняков, Сергей Семенов, Алексей Чапыгин, Иван Касаткин, Семен Подъячев — и они приняли эстафету у классической, дворянской

И. Ф. НАЖИВИН

ЗАПИСКИ
О
РЕВОЛЮЦИИ

1917–1921

литературы XIX века, клонившейся к закату. Символичны поэтому, например, доверительные отношения, почти дружба, которая связывала Наживина со Львом Толстым в последнее десятилетие жизни яснополянского старца. В то же время эта новая волна привнесла в русскую литературу нечто такое, чего не было у классиков. Речь идет об особой, пронзительной исповедальности сочинений крестьянских авторов, связанной в том числе с нарастающим кризисом русского национального самосознания: он больше всего задевал деревню как источник и носитель национальной традиции. Эта мучительная, растянувшаяся на десятилетия рефлексия, идущая из самой толщи народа, после 1917 года питала лучшие произведения советской литературы — «Тихий Дон», прозу писателей-деревенщиков, писателей-фронтовиков.

«Запискам о революции» исповедальный тон тоже присущ с первой до последней страницы. В отличие от большинства представителей образованного класса Наживин уже после февральского переворота 1917 года был охвачен пессимизмом, видя, как власть на всех уровнях захватывают «горлопаны и проходимцы». Но еще более одиноким среди коллег по интеллигентскому цеху его делало то, что он искренне признавал свою долю вины в случившемся. «И нельзя было отрицать никак, что и “мы с Толстым” в этом разрушении, в этом позоре, в этом горе участвовали, хотя, конечно, с самыми лучшими намерениями... Сознание своей виновности и желание поправиться росло. И я не скрывал от себя и от людей этого — нет, мы определенно виноваты, мы, интеллигенция, мы, вожди народные...» — читаем в «Записках». Другое дело, что признать вину означало для творцов революции необ-

Я к тому времени понял уже, что Россия — это прежде всего мой дом, и потому бессмысленно и преступно зажигать этот дом со всех четырех углов, как это сделали с нашего благословения массы в 1917 году

ходимость отказаться от своей правды и признать чужую. Но чью? Народную? Тут и сам Наживин колеблется, с трудом расставаясь с привычной демагогией интеллигента, свысока взирающего на «темные массы». «Нельзя было говорить темным массам то, что говорили мы с Толстым, — продолжает он. — Они неизбежно извратили и окривляли все. Не надо церкви? Прекрасно — вот висят по деревьям старенькие священники и епископы, часто хорошие пастыри. Не надо воевать за отечество? Прекрасно — будем истреблять миллионы людей за “интернационал”. Собственность — кража, грех? Прекрасно — будем срывать с рук замученных офицеров золотые перстни». То есть идеи были правильные, а вот народ подкачал — знакомое рассуждение... В другом месте «Записок» автор защищает конституционную монархию именно потому, что это элитарный образ правления, то есть когда у власти «образованные люди» вроде него самого. Модель, ради которой была совершена Февральская революция и которая у всех на глазах потерпела полное историческое поражение.

Тем не менее Наживин услышал народную правду — из разговоров с великорусскими крестьянами, малороссийскими селянами, донскими казаками, кубанскими «зелеными». Благодаря этому мы располагаем точными данными о том, что, собственно, народ думал о революции и о себе. Говоря научным языком, в «Записках» выявлены архетипы национального самосознания — базовые, непреходящие ценности, позволяющие и сегодня ответить на вопрос: кто же мы такие, русские? Эти ценности — земля, мир, царь и Бог. Впрочем, несмотря на их кажущуюся предсказуемость, неожиданное кроется, как всегда, в деталях.

Главный миф, который развенчивается в «Записках», связан с землей — с тем, что якобы правильное решение этого вопроса большевиками определило переход на их сторону крестьян и победу в Гражданской войне. В действительности то, что сделали большевики: раздали помещичью и часть кулацкой земли бесплатно, — не нравилось крестьянам, так как было незаконно. Они хотели получить землю, но только за выкуп, пытаясь через советы — новые органы власти — хотя бы оплатить аренду экспроприированных частновладельческих угодий и сильно переживая из-за того, что это невозможно. Так что «русское крестьянство и социализм — это два явления, которые, как воду и масло, можно смешать только насильственно и только на очень короткое время», — заключает Наживин. И еще по поводу социализма. Когда после октября 1917 года большевистская власть развернула настоящую войну против буржуазии, оказалось, что «биржузами», то есть своим классовым врагом, народ считал интеллигенцию. Что до настоящей буржуазии, то к ней крестьяне относились с почтением как к производящему классу: «Не трогали пока купца, так хлеб-то по две копейки был, а ситец по гривеннику, а теперь, когда все эти комитеты да капереации загнали купца за Можай, ни к чему приступить нету, потому сами, дьяволы, ни фиги не умеют и дороговизну такую развели, что хошь вешайся».

Велико было желание народа и окончить войну. Но, как показали выборы в Учредительное собрание осенью 1917 года, не любой ценой. Голосовать за мир означало голосовать за большевиков, а это автоматически исключало положительное решение вопроса о возвращении монархии, к чему стремились крестьяне: «А нельзя ли как так устроить, чтобы и за царя, и войну кончать? — Нет, так нельзя... — Ну, паря, и напутали вы — сам кварталный ее разберет!..» То есть проголосовать «за мир» в ущерб голосованию «за царя» готов был не каждый. Когда же речь заходила о власти, крестьяне были единодушны: царя вернуть, потому что без хозяина государство, как дом, не может существовать. Показательна в этом отношении и реакция на расправу с царской семьей: неправда, что народу было все равно. Наживин приводит такой эпизод: «— А слышал: Государя-то Ампиатора, пишут, увезли неизвестно куда... — Многозначительное, злое молчание... — Неизвестно!.. Все известно сукиным детям — нам только глаза отводят, подлецы... — так же осторожно отвечал другой голос. Я сошел сверху — мои приятели сразу изобразили на лицах своих эдакую

федеративно-социалистическую улыбку: они были уверены, что я за “новое право” стою...» «Не мы ведь, а баринишники царя-то предали...», — говорили уже в доверительных беседах крестьяне, подразумевая под баринишниками всех, «кто не народ».

Под влиянием всех этих разговоров у самого Наживина происходит радикальная перемена умонастроения. Он становится из анархиста — монархистом, из толстовца-сектанта — почти что православным христианином. «Мне как-то вдруг открылось, — пишет он, — что рационалистическая религия, к которой я столько времени старался приобщиться вслед за Толстым, — это такая же нелепость, как сухая вода или холодный жар, что рассудку в этой области совершенно нечего делать, что разрушить тут он может многое, но создать не может ничего...» И позднее: «И опять я стал... кружиться душой около Церкви, точно притягиваемый к ней какой-то невидимой силой... Я думаю, что ближайшему времени предстоит колоссальная религиозная работа... Теперь многие поняли, что религия — это не “глупая поповская выдумка”. Не только народ, но и интеллигенция уже не тянется, а рвется к Церкви...»

В конце концов Наживин формулирует еще одну ценность, о которой не было никаких разговоров в народе, но которая как бы обнимает собой все, о чем говорилось. Это — отечество: «Бывший интернационалист, я к тому времени понял уже, что Россия это прежде всего, практически уже только — мой дом, дом детей моих, без которого ни они, ни я просто жить не можем, и потому бессмысленно и преступно зажигать этот дом со всех четырех углов, как это сделали с нашего благословения массы в 1917 году. Один из огромных уроков, данных нам, сидевшим, был в этой переоценке понятий государства и родины. Оказалось, что это не простой “позорный пережиток буржуазного периода”, а реальность, крепко заложенная в душе человека». Уже стоя на палубе парохода из России, Наживин сталкивается с неожиданным подтверждением правоты своих слов. Его двенадцатилетняя дочь Люся вдруг зарыдала: «Жалко!.. Не хочу уезжать из России!..» А он удивлен: дочь бывшего «всечеловека и интернационалиста» испытывает подобные чувства! То есть написать-то он написал, однако сам не поверил до конца в написанное. Это ему предстоит в эмиграции, из которой он в тридцатые годы будет проситься домой, в СССР, но безуспешно.

■ Наживин И. Записки о революции: 1917–1921. — М.: Кучково поле. — 2016. — 383 с.